

УДК: 304.5

АНТРОПОЛОГИЯ ГРАНИЦЫ: «ОДЕЖДА ДЕЛАЕТ МОНАХА»

Шоркин А. Д.

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, г. Симферополь, Российская Федерация.

E-mail: alexshorkin@mail.ru.

В статье подвергается критике распространенное представление о границах культур, согласно этому представлению границы сводятся к внешнему контуру периферии, замыкающему ойкумену с ее ядром. Этому топографическому подходу следует предпочесть трактовку культуры как сети, сложные сплетения которой образуют субкультуры как локальные узоры порядка. Человек извлекает из мира только то, к чему приспособлены его понятийные, коммуникативные и иные сети. Он является существом, находящимся и действующим в сотканной им самим культурной паутине норм и смыслов. Габитусы составляют не только ядро культуры, но и ее границы. Суть культуры состоит в установлении границ допустимого и мыслимого. Ни структуры, ни морфологии мира без границ не установить. Без них нет смыслов культуры. Границы инкорпорированы в причудливой топологии ее сетей, испещренных складками. Складки и габитусы позволяют определять, различать, разграничивать. Границы культур далеко не всегда вынесены в безопасную зону маргинальной периферии, большая их часть расположена внутри сетей. Двигаясь по привычным и надежным сетям, мы всегда остаемся рядом с инобытием, в тревожной близости с иной культурой. Контурные границы обрисовываются, если на них смотреть с двух сторон – изнутри данной культуры, а также извне. Граница всегда – «между»: между двумя мирами, между моими и чужими габитусами. «Своей» границы нет, она непременно принадлежит и Другому.

Для описания процессов трансграничных культурных взаимодействий в статье привлечен концепт «мембраны». Не претендуя на аналитическую строгость, мембрану можно представить как маленькое и всегда открытое отверстие, сквозь которое проходит «свет» чужих смыслов и символов, осуществляются процессы диффузии культур, заимствования и переноса. Межкультурную границу «на замок», как калитку в заборе, не закрыть. Проникающий сквозь мембраны «свет» подвержен дифракции и интерференции – как обычная световая волна, которая проходит сквозь малое отверстие в преграде или накладывается на встречную волну. Суть этих хорошо известных явлений состоит в том, что ранее однородное световое поле теперь распадается на чередующиеся участки большей и меньшей освещенности. Мир культурного пограничья странен и непривычен. Он опасен: человек не может, находясь в нем, избежать темных холодных зон, где теряется идентичность и гаснет разум. Его хронотоп составлен причудливо перемежающимися сгустками и разряжениями тьмы и света, холода отчуждения и теплоты сопричастности, сквозь которые человек пробирается в поисках новых смыслов.

Ключевые слова: границы культуры, габитус, сеть, транскультурная мембрана, пограничный хронотоп.

Французская поговорка «L'habit fait le moine», которая вынесена в заглавие данных заметок, наверное, сослужила добрую службу многим социологам и культурологам: без ключевого концепта «габитус» их дискурс заметно бы поблек. Ряса и клобук – это нечто вполне привычное и традиционное, но также, заметим,

нечто внешнее, окутывающее. Одежда отграничивает наши тела от мира и от Других, мы регулируем процессы обнажения и облачения, а вообще без нее обходимся редко. Она, как вторая – «культурная кожа» человека, издавна не сводится к утилитарным функциям, а исполняет роль семиотического текста и покрова. Ограничен и диапазон приемлемой одежды, но, главное, любая одежда – это уже граница. Младенец сначала для обретения Я открывает границы собственного тела, а потом, в подростковом возрасте, демонстрирует найденную персону одеждой – традиционной, как прежние времена, или, как сейчас, вызывающей. Полтора столетия назад мечтой невесты было подвенечное платье ее бабушки. Но кто рискнет предложить его современной невесте?!

Итак, габитусы (в другой транскрипции – хабитусы), включая одежду (*habitus*), составляют не только некое центрирующее основание культуры, часто именуемое «ядром», но являются и ее границами. Распространенная пространственно-топографическая схематика культуры (на которой носители габитусов расположены в центральном ядре, подальше, на периферии – отступающие от габитусов пассионарии и маргиналы, а уже за ними – граница, за которой габитусы вообще не действуют) является иногда полезным упрощением. Однако, по сути, остается примитивной и сбивающей с толку картинкой, сопоставимой с макетом атома в школьном кабинете физики: из шарообразной красной тушки «ядра» торчат желтые палочки с голубыми маленькими шариками «электронов» на концах.

Скорее в пространственном отношении культуры похожи на сети: понятийные, образные коммуникативные и иные. На паутину, сложные и разнообразные хитросплетения которой образуют локальные узоры порядка, именуемые субкультурами. Макс Вебер и Клиффорд Гирц сравнивают человека с существом, висящим на сотканной им самим культурной паутине смыслов [4, С. 11]. Ткань культуры не только разрежена (она не имеет плотности сукна, ее фактура сродни изысканности кружев, нежной прочности узорчатой драгоценной бязи), но и скомкана в причудливой топологии, испещрена многими сгибами и складками. От Лейбница до Делеза представители герменевтики и постмодернизма полагают «складку» исходным для людей способом различать что-либо в мире, идентифицировать вещи, себя и Другого. Мы извлекаем из мира только то, к чему приспособлены наши сети, сплетаем нити слов в тексты и ловим вещи в капканы фраз, – вся наша добыча зависит от устройства сетей и капканов.

В середине паутины или в потаенности складки каких-либо зловердных насекомых нет, по ее невидимым нитям среди бездонных провалов уверенно движемся мы сами, ее строители и хозяева; но из дырок сетей и загадочного лона складок чернеет пустота. Конечно, некоторые из нитей достигают края сетей, но большая часть границ расположена внутри; двигаясь по привычным и надежным сетям, по сгибам ткани культуры, мы всегда заглядываем в пропасти инобытия. Чтобы перейти культурную границу, вовсе не обязательно быть обитателем маргинальной субкультуры, пассионариев рождает и истеблишмент. Устройство культуры совсем не такое, как топография села, в центре которого стоит церковь и сельсовет (ядро и святыни), дальше, за ойкуменой хат, – огороды (как

символическое место обитания лазающих по чужим огородам маргиналов и чучел), а за околицей (границей) – дикий лес.

Пространственные схематики культуры, если они не топографические, не «школьные», сопряжены с иной, странной топологией, где многие границы культуры проложены «внутри» ее самой. В соотношении с нашим сознательным опытом обитателей макромира, с накопленными матрицами его образов столь непривычная данность мегамира культуры (как и бессознательных содержаний психики) зачастую, естественно, воспринимается подозрительной и парадоксальной. Да и не хочется думать, что опасные границы нашего уютного и правильного бытия не там, вдалеке, за околицами, где живут «всякие не такие правильные как мы» маргиналы, а где-то рядом. Как трещины на леднике, коварно прикрытые от альпиниста корочкой наста. Ничем иным я не могу пояснить, отчего с такой настойчивостью продолжаются топографические поиски «ядра» и «периферии» культуры, но гораздо реже – ее, скажем, ключевых инвариантных смыслов, вариаций стратагем, культурных кодов и отклонений от них. Желаем мы того или нет, границы всегда рядом, оступиться и соскользнуть в их трещины – проще некуда. Один неверный шаг, – и ты на краю мира.

Излюбленное сравнение Ницше человека с канатоходцем над пропастью, однако, романтически и недостоверно драматизирует реальность. Приграничное бытие, вопреки оценкам многих философов, вовсе не всегда трагично. Прежде всего, оно нормально, другого у нас нет. Большинство людей живут, уверенно двигаясь по «нитям» культуры, их укрепляя и используя. Через «трещины» они не ходят, «складки» огибают – движутся по проторенным путям. Ни в какие пропасти не заглядывают, ибо о них и не ведают. Совсем не трудно пройти по широкой доске, когда она лежит на земле, страшно, а потому и рискованно – когда доска переброшена через шахту лифта. По толстым «канатам» Ницше мы передвигаемся так, будто они лежат на земле, с уверенностью скользящего по паутинке паука. Подобно хозяйственным муравьям, мы, как правило, спокойно спим по стеблям культуры.

Есть, конечно, и другие люди, о провалах и пропастях знающие, и даже те, призвание которых состоит в поиске предательски скрытых трещин. Им труднее, ведь во всякой мудрости многие печали. И все же не только скорбь и трагическое мироощущение сопутствует этим специальным поискам. Среди занятых ими художников и ученых – гораздо больше оптимистов, напряженными творческими усилиями которых сеть культуры растет и перестраивается, становится более надежной и совершенной. Трагизм Босха, Баха или Врубеля – только одна из многих нот и красок в жизнеутверждающей партитуре музыки и на многоцветной палитре живописи. Среди литераторов пессимистов больше, ведь грязь нашей (хоть прошлой, хоть настоящей) жизни ясно видеть надобно, чтобы она чище стала. Хотя некоторые ее смакуют и предрекают мрачное будущее. Конечно, так проще получить скандальную известность и умным прослыть: сбудется, так «а я ведь предупреждал», не сбудется – так никто ведь и не вспомнит об ошибочности былых предсказаний. Кроме того, картина все время перед глазами, музыка – на слуху, а книжку – закрыл, о тревожном ее содержании только память напомнить сможет.

Поэтому в книжках больше пессимизма можно допустить. Но разве произведения Аристофана, Рабле или Данте характерны трагическим мироощущением? Комедии, особенно в кино, – жанр более популярный, чем трагедии. Смеховая культура неустранима, она проникает даже в строгую объективность научного поиска. Известный биолог и методолог А. А. Любищев, в 20-х годах – ассистент Таврического университета, педантично, с точностью до минут, хронометрировал режим всей своей жизни. Что не помешало ему как-то заметить, что «наука – баба веселая, паучьей серьезности не терпит».

Итак, складки и габитусы культуры – это то, что позволяет человеку разграничивать, различать. Без этой способности нет не только культуры, но и вообще жизни: раздражимость, коей обладали микроорганизмы уже миллиарды лет назад, состоит в генетически закрепленной избирательной реакции на среду, в умении отличить в ней полезное для себя – от ненужного. Растения еще не отличают опасного от безопасного, но разница эта хорошо известна, многократно испытана «на своей шкуре» всяким насекомым и животным. В дополнение к тому, что ранее уже вбито в генетические коды, люди установили разницу между сакральным и профанным, между достоинством и унижением. Без подобных границ (между прекрасным и безобразным, между истиной и заблуждением и многих иных) попросту невозможны те ключевые оппозиции, на которых только и зиждется культура.

С появлением речи содержания понятий (то есть суть вещей, которые мыслятся в понятии) раскрываются логической операцией определения. Ею устанавливаются существенные признаки, которые позволяют различать вещи и без которых вещь перестает быть собой. Вслушиваясь в тайную мудрость естественного языка, на время испортим привычные слова дефисами: «о-пределение», «со-держание». Определить понятие, как подсказывает нам язык, – это значит установить его предел. Ни структуры, ни морфологии мира без границ не установить. Что может психика «со-держат» и «у-держивать» вне замкнутых контуров границ, маяков пограничной «о-черченности», «о-пределенности»? Свет смыслов тускнеет и мерцает все реже, когда границы расплываются и стираются. Он гаснет, когда границы исчезли, – и тогда уже нет никаких различий между прекрасным и «безобразным», между устремленностью и «без-различием». Угасает культура, угасает психика. Человек возможен лишь постольку, поскольку он способен устанавливать различия, охранять границы своей культуры. Пренебрежение ими Ф. М. Достоевский считал «бесовщиной».

Разве не такие нужные границы мы подразумеваем в предостерегающих выражениях «ты перегибаешь палку», «зашел слишком далеко», «не знаешь меры»? Возможно, меры действительно не знает только одно исключительное, но, увы, нередкое людское качество – глупость.

Безбрежный океан устрашает мощью и безжизненностью своей безграничности и пустынности. За пределами щедрых шельфов, где он встречается с сушей, в его бескрайних даях рыба почти не водится. Такова и пустыня: чем дальше и недоступнее границы, тем в ней все более пусто (потому и «пустыня»), тем труднее там выжить и зверю, и человеку. Пустынь отшельника поглощает соблазны

различий, избыточные содержания исчезают, когда их некому и незачем удерживать, смыслы съеживаются и заостряются до единственного абсолюта. Пустота становится культурным пространством только наличием границ. Альбер Камю рассказывает о «мертвом городе» Джемиле, из которого «никуда не попадешь» и у которого «нет округи». Там стихии останавливают время, срывают с человека оболочки культурных смыслов, отрешают человека от самого себя, неумолимо истощают и поглощают его. Вместе со смертью прошлого и будущего там «умирает дух» [5, С. 529].

Мы, однако, скорее не знаем, а угадываем смыслы культуры, продираясь сквозь джунгли их всевозможных интерпретаций. Клиффорд Гирц в известной методологии «насыщенного описания» настаивает на необходимости всестороннего учета и построения вариантов координации таких интерпретаций. Но нахождение «общей почвы» есть «занятие изматывающее и никогда не бывающее вполне успешным» [4, С. 21]. Тонкость разграничений в этом случае ценнее широты абстракций. Попытки построения аналитически строгой карты Континента Смыслов, таков контекст рассуждений автора, дадут лишь его спекулятивно сухой и безжизненный ландшафт. Смыслы без наличия границ – такая же пустая абстракция, как и наивный примитив топографической их жесткости. Контуры границ вырисовываются и обретают четкость, если на них смотреть с разных сторон, не только изнутри, но и извне, снаружи. Границы рождаются в столкновении габитусов и оценок, в схватке интерпретаций. «Своей» границы нет, она всегда принадлежит и Другому.

«Если нечто определено как предел, – пишет об этом одним из первых Гегель, – мы тем самым уже вышли за этот предел» [3, С. 116]. В метафизике границы данное важное обстоятельство традиционно именуется «трангрессией». М. Хайдеггер предпочитает говорить об «экстатичности своего бытия». Однако в связи с тем, что в подобных дискурсах постулируется наличие «тотально сущего», как-то блекнет, мельчает и уходит на второй план различие между тем, что люди изменяются с течением времени, и тем, что и в любом синхронном его срезе люди и культуры разительно отличны. «Мы», о которых говорят метафизики, поглощает и одно, и другое. А жаль, потому что исходный вклад в конституирование границы вносят именно синхронно сосуществующие Я и Другой.

Хронотоп культуры и человека, разумеется, также открыт в диахронном измерении, в котором только и можно проследить приобретения и изъяны времени: непростые коллизии становления и развития новшеств, утраты и восстановления прежних культурных достижений. Напомним, что, по А. Камю, в пустоши мертвого города личность гибнет вместе со смертью времени, которое там застывает в настоящем. Культура больше, чем топос, культура, на чем правильно настаивал М. М. Бахтин, – это хронотоп. Топос культуры не прибить гвоздями, как и текущую реку, но ее хронотоп всегда сопряжен с ограничениями, хотя бы с неустранимой границей конечности человеческих жизней. Вновь и вновь воспроизводит себя культура в каждом родившемся ребенке. Да и разве известна хоть одна какая-нибудь культура, идущая от начала времен? Известны исчезнувшие цивилизации. Меняются люди, меняется мир. Но прежде чем выстраивать понимание того, как

растет и отцветает культура, необходимо констатировать само ее наличие в виде синхронно сосуществующих конкурирующих габитусов.

Дискурс же умозрительного философствования здесь лишь соскальзывает в содержательно глубокую древнюю колею, проторенную от Парменида и Гераклита. Изменчивость или константность бытия, «апейрон» или «пейрос», диалектика или метафизика? Ж. Деррида на этот счет вообще оставляет жалкий выбор: либо фиксировать собственную идентичность, либо стать симулякром, утонуть в бесконечном становлении, в «игре восполнений». Глубокие вопросы о том, как «нечто» возникает из «ничто», как возможно «единичное» (уникальное) в тотальности «всеобщего», как «А» становится «не А» там, в метафизике, носят спекулятивный характер; тонкие рассуждения выстраиваются в архаичной изоляции от эмпирических данных, от фактов. Жонглирование словами и высокопарная, отдающая манией величия стилистика, отталкивает, например, Юнга – от Гегеля [9, С. 18–20], Теодора Адорно – от Мартина Хайдеггера и Карла Ясперса [1].

Но поднятые метафизиками вопросы не перестают оставаться глубокими. В претенциозном кружеве слов, скорее всего, упакованы пока невостребованные нужные смыслы. Они могут извлекаться оттуда по мере построения новой методологии и философии науки, в том числе в ходе становления теории культуры. Без обращения к современным тенденциям и результатам науки метафизика, однако, рискует превратиться в малосвязанные эзотерические дискурсы, адепты и неопиты которых красиво щебечут на своих птичьих языках, непонятных для остальных.

Разве, например, привлекла нужное внимание метафизиков синергетика, которая сегодня обоснованно претендует на статус основы научной картины мира XXI века? А ведь в ней содержатся эффективные, проверенные на практическом опыте модели решения некоторых ключевых тем метафизики: проблем соотношения необходимости и случайности, стандартной закономерности, которой подчинены вещи, и их неустрашимой уникальности. Удивительно, как можно игнорировать, что среди многих тысяч листьев одного дерева нет двух одинаковых или что в стандартных закономерностях кристаллизации каждая из триллионов снежинок имеет свой уникальный узор! А ведь в синергетической картине мира такова вся природа, она – и типична, и уникальна. Похоже, нужно научиться замечать вещи мира (такие, как снег или деревья), чтобы иссушенные абстракции метафизиков укоренялись в природной почве и приносили осязаемые плоды.

Словом, метафизика границы пока не дает нужной методологии для построения антропологии границы. А распространенные представления о границе сводят ее к внешнему контуру, замыкающему ойкумену с ее ядром. Как забор вокруг палисадника. Но как возможны границы субкультур внутри «палисадника культуры»? Тоже «заборы»? Но тогда каким образом в нем умудряется свободно и комфортно передвигаться любой человек, который всегда встроен в великое множество субкультур?

Конечно, «забор» – это некоторая метафора препятствия, преграды, барьера, фиксации предела. Чем же граница является на самом деле? По моему мнению, более уместным концептом здесь может служить «мембрана». Забор мертвый и

глухой, через него можно только перепрыгнуть. Транскультурная мембрана живет, дышит, сквозь нее зачастую можно легко проникать, но она способна переходы ограничить или заблокировать – смотря кто (или что) стучится в ее двери. Таковы биологические мембраны, без которых невозможна жизнь. Сквозь культурные мембраны проходит в своем развитии человек, взаимодействуют культуры и субкультуры. «Заграница нам поможет», если мембрана позволит. Изъяны мембран стараются исправить, иногда их, по неразумению или злой воли, наоборот, провоцируют. Но интенсивное движение сквозь них никогда не прекращается. В текстах герменевтики прочность предрассудка обрело утверждение, что понимание достигается посредством диалога «поверх» границ. Вовсе не поверх, а сквозь границы мы проникаем, когда хотим друг друга понять, наладить взаимодействие! Как невозможно, развиваясь, двигаться поверх времени, а только сквозь него. Прыжков «через» в хронотопах культур не существует.

Когда культуры сталкиваются в схватке, мембраны общих границ почти наглухо закрываются, а вокруг них образуется «ничейная полоса» – то есть дикое (лежащее вне культур) поле. Ценой за попытку прохождения ничейной полосы, как на войне, является жизнь. В экзистенциальном конфликте эту высшую цену, однако, соглашаются заплатить, чтобы мембраны взломать, сокрушить. По такому же сценарию проходят межличностные экзистенциальные конфликты: чтобы добраться до врага, нужно одичать самому, пересекая дикое поле (wilderness). Но, сокрушив противника, уже никогда не останешься прежним. Бескомпромиссная борьба за собственную идентичность способна привести к ее утрате вследствие победы, когда пограничные мембраны повреждены: ведь они всегда настолько же свои, насколько – чужие и враждебные.

Люди от начала времен беспрестанно воюют друг с другом, маргиналов подвергают обструкциям, а старые поколения недовольны новыми. Но все же экзистенциальные конфликты с мощью их необратимых деструкций в долгой истории человечества сводятся к немногим исключениям. «Схватками цивилизаций» скорее пугают, «чтобы неповадно было». Обычные, массовые и типичные кросскультурные взаимодействия, а также межличностные контакты и персональные процессы развития протекают в иных, более мягких, спокойных, хотя и конкурентных режимах. Зоны (что Шенгенская, что для заключенных) стандартно отграничены мембранами, устанавливающими те или иные режимы пропуска людей и технологий, мифологем, товаров и денег. Кто и на каких условиях ее «топчет» и «греет». Вслушаемся опять в язык: совсем разные социальные и культурные конгломераты отграничены нами стандартно именуемыми «зонами», «режимами». Транскультурные мембраны здесь работают избирательнее, получение пропуска обычно не требует непомерной цены жизни. Границы стран закрываются «на замок» или «железным занавесом» не от всех и не от всего, а только для всяких диверсантов и прочих вредоносных влияний. В конце девятнадцатого века нищий художник из России мог пешком, не ведая никаких виз, отправиться в Италию. Политические карты национальных государств появились после 1630 года.

Возможно, быстро набравшая сакральное значение топографическая фиксация национальной государственной территориальности и послужила предтечей

ущербной пространственно-топографической схематики культуры. Но, заметим, фактически границами разделены не сами государства, а страны, в которых действует государственная юрисдикция. Отнюдь не общества с их многими заграничными анклавами, межличностными связями. И тем более не культуры с их неустранимой, как доказал Франц Боас, диффузией, без которой они вянут и сохнут. Реальная жизнь регламентируется установлениями принципиально разного рода. Среди них обязательные для исполнения государственные законы и подзаконные акты составляют лишь условия реализации устремлений, вызванных совсем иными, негосударственными культурными потребностями, ориентирами и смыслами.

Проникающий сквозь транскультурные мембраны свет смыслов подвержен дифракции и интерференции – как обычная световая волна, которая проходит сквозь отверстие в преграде или накладывается на встречную волну. Суть этих известных природных явлений состоит в том, что ранее однородное световое поле теперь распадается на чередующиеся участки большей и меньшей освещенности. Возникают темные полосы или концентрические круги и пятна, а рядом – светлые и яркие, где белый скучный свет способен обернуться сочным цветом.

Мир культурного пограничья странен и непривычен. Он опасен: ты не можешь, находясь в нем, избежать темных холодных зон, где теряется идентичность и гаснет разум (ну что делать, нет там никакого света). Но рядом – и спасительная теплота яркости (иногда даже интенсивнее и разнообразнее приевшейся «белизны» привычных габитусов), где разум крепнет, а идентичность обогащается. Он – не шахматная доска, через черные клетки которой можно и перепрыгнуть. Его хронотоп составлен причудливо перемежающимися ступками и разряжениями тьмы и света, холода отчуждения и теплоты сопричастности, сквозь которые (опять-таки, не «через») человек пробирается в поисках новых смыслов, то и дело оказываясь в сумрачных зонах.

«Мысли с неба» способны, согласно Милораду Павичу, «завясть меня как снег» так, что потом едва удастся «согреться и вернуться к жизни» [7, С. 234]. А М. М. Бахтин в его последней работе отмечает «теплоту любви и холод отчуждения», свойственные моменту противопоставления «своего» – «чужому» [2, С. 361]. У того, кто отважился ступить в мир пограничья, разум и неразумие вступают, показывает М. Фуко, в опасную связь. Wilderness (дикое поле фронта) порождает, вновь вслушаемся в язык, wildered («недоумение»). В сумерках и всполохах света идентичность «странника», конечно, становится «странной», начинает мерцать, временами наполняясь новым светом смыслов или угасая. Но и Сова Минервы вылетает только в сумерках.

Гертруда Стайн с подкупающей честностью говорила, что identity автора (его «идентичность», «узнаваемость», а не «самость», как дано в переводе) не имеет к созданному им шедевру «никакого отношения» [Цит. по: 8, С. 169]. Аналогично, показывает Е. В. Петровская, Герман Мелвилл размышляет: как юмор и любовь (какой уж тут, кстати, пессимизм) препятствуют печальной участи утраты identity при попытке достичь неизведанных глубин. Отважный ныряльщик, умелый и осторожный, поначалу осваивает меньшие (чем предельная) глубины. Он

периодически всплывает на дискурсивную поверхность родных габитусов, окрашенную любовью и юмором; глубина его погружений, возрастая, «пульсирует» [8, С. 80–82]. Подмеченные «пульсации» – от поверхности эго к его утрате – поясняются в нашей модели дифракционным мерцанием света и тепла культурных смыслов в хронотопе пограничья. Похоже, авторы наиболее значительных культурных достижений расплачиваются за то, что они создали хотя бы частью собственной прежней идентичности. Оттуда, из дальних странствий в приграничье, они возвращаются иными, а с ними приходят и поправки в хронотоп. Как когда-то, в стародавние времена мифа из поиска за Золотым руном: «Одиссей возвратился, пространством и временем полный» [6, С. 104].

Подводя итоги, вспомним, что в античные времена рабы часто именовались названиями используемых ими инструментов: «эй, Весло, иди сюда». Как хорошо люди всегда были осведомлены о проверенных опытом границах применения всех без исключения ими созданных артефактов, что даже могли так простодушно и кощунственно переносить эту разграничивающую классификацию на себе подобных! Без способности различать разные растения и множество животных человечество просто не смогло бы выжить. Без тонких разграничений процессов и структур неорганической природы не сложились бы даже первобытные практики построения культурных ландшафтов. Суть культуры, таким образом, состоит в установлении границ существующего, допустимого и мыслимого. Без них нет смыслов культуры. Они не только составляют внешний контур культуры, но, главное, инкорпорированы в топологии ее «тела», в устройении тонких и разветвленных коммуникативных и субкультурных сетей.

Границы культуры не отгораживают свою территорию, подобно глухому забору, а представляют собой чувствительные транскультурные мембраны, которые способны и блокировать нежелательное, и беспрепятственно пропустить нужное. Непроницаемая и неподвижная граница культуры рано или поздно превращает ее идеалы в идолов. Тогда она костенеет, перестает справляться с новыми вызовами и гибнет. Удел культур – дерзость перемен, сокрушение стесняющих движение границ при бережном, однако, отношении к сокровищу традиций. Их развитие состоит не в абсурдном и слепом отказе от границ, а в установлении новых. Пограничные разметки территории культуры, за которые нельзя заходить, человек то и дело пересекает – из нужды, любопытства, азарта, упрямства и многих прочих мотивов. На протяжении всей истории они также то и дело самонадеянно передвигаются группами людей, полагаются «фронтиром» (Ф. Д. Тернер) – краем правильной и развитой цивилизации, которая усилиями общества расширяется, наступая на «отсталые» (или испорченные) культуры.

Сегодня мы наблюдаем процессы начала спада Западного фронта трех последних столетий и попытки восстановления фронта Исламского халифата. Самоуверенное продвижение фронтиров с давних времен и до настоящего времени, конечно, отчасти способствовало переносу и распространению нужных людям технологий и смыслов. Но каких неприемлемых издержек всегда это стоило, разве не крахом и не последующим смирением заканчивались в истории подобные, мягко говоря, нескромные притязания? Коллективная стратегия фронта прямолинейна и

энергична, этим она сильна, поэтому востребована. Но она, повторим, лишь грубо навязывает, а не созидает культурные достижения.

Творческое же их созидание вызревает в приграничных зонах персональными усилиями. Там, где свет символов и значений перестает быть привычным и однородным, в причудливых перепадах его странного теплого сияния и сумрачной холодной тусклости, – ибо так устроены транскультурные мембраны, создающие дифракционный эффект. Культура прирастает воображением и талантом личностей, которые отважились погрузиться в неведомый мир пограничья даже ценой реальной угрозы потери собственной идентичности. Для отдельного человека не только утрата идентичности, но и всякий резкий ее сдвиг редко оказывается желанным даром, скорее, такие перемены нежелательны, болезненны и даже трагичны. Но такова плата за развитие культуры (и, соответственно, за появление нового человека), которая отнюдь не метафорически, а в самом прямом смысле является способом бытия человека. Или кому-нибудь нужно, чтобы мы до сих пор сохраняли нашу первобытную, в те архаичные времена нормальную, а ныне почти утраченную идентичность каннибала?

Список литературы

22. Адорно Теодор. Жаргон подлинности. О немецкой идеологии / Теодор Адорно. Пер.: Е. В. Борисов. – М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2011. – 191 с.
23. Бахтин М. М. К методологии гуманитарных наук / М. М. Бахтин. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С. 361–373.
24. Гегель Г.-В. Ф. Наука логики / Г.-В. Ф. Гегель. – СПб.: Наука, 2005. – 800 с.
25. Гирц К. «Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной теории культуры / Клиффорд Гирц. Интерпретация культур // Пер с англ. – М.: РОССПЕН, 2004. – С. 9–42.
26. Камю А. Ветер в Джемила / Альбер Камю. Избранное // Пер с фр. – М.: Прогресс, 1969. – С. 529–534.
27. Мандельштам О. Э. Стихотворения / О. Э. Мандельштам. – Ленинград: Издатель «Советский писатель», 1978. – 336 с.
28. Милорад Павич. Хазарский словарь / Павич М. – СПб: Азбука, 1998. – 383 с.
29. Петровская Е. В. Часть света / Е. В. Петровская. – М.: Ad Marginem, 1995. – 175 с.
30. Юнг К. Г. О природе психе / К. Г. Юнг. – М.: Рефл.-бук. Киев: Ваклер, 2002. – С. 7–95.

Shorkin A.D. Anthropology of the Border: "Clothes Make the Monk" // Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Philosophy. Political science. Culturology. – 2017. – Vol. 3 (69). – № 4. – P. 163–173.

The article criticized the common views about the boundaries of cultures, which reduce them to the outer contour of the periphery, to the closing of the ecumene with its nucleus. This topographical approach is to be preferred to the interpretation of culture as a network, a complex web which forms a subculture as local patterns of order. A person draws from the world only what suits his conceptual, communication and other networks. He is being located and acting in the woven web of cultural norms and meanings.

The habitus is not only the core of the culture, but also its boundaries. The essence of culture consists in the establishing the boundaries of the acceptable and the conceivable. Neither the structure nor the morphology of a world without borders can not be installed. There is no sense of culture without them. The borders are incorporated into the bizarre topology of its networks, riddled with folds. Folds and habitus allow us to determine, to distinguish, to differentiate. The boundaries of cultures are not always delivered in a safe zone of a marginal periphery, most of them are located inside the networks. Driving on familiar and reliable networks we always remain close to otherness, in alarming proximity with another culture. The contours of the borders are drawn, if you look at them from two sides from within the culture as well as from the outside. The border

is always "between": between two worlds, between my and other people's habitus. There is no «your» border, it certainly belongs to Another.

To describe processes of cross-border cultural interactions the concept of "membrane" is brought in the article. No pretension to analytical rigor, the membrane can be thought as small and always open hole through which the "light" of other people's meanings and symbols passes. Intercultural border, "the castle" can not be closed as the gate in the fence. Penetrating through the membrane "light" is a subject of diffraction and interference as an ordinary light wave, which passes through a small hole in the barrier or is superimposed on the oncoming wave. The essence of these well known phenomena is that a previously homogeneous light field now breaks up into alternating sections of greater and lesser light. The world of the cultural borderland is strange and unusual. It is dangerous: a person may not avoid the dark cold areas where identity is lost and the mind goes blank. Its chronotope is made up of fancy interspersed clots and rarefactions of darkness and light, cold and distance, the warmth of belonging through which a man wades in search of new meanings.

Keywords: the borders of culture, habitus, network, transcultural membrane, the border chronotope.

References

1. Adorno Teodor. Zhargon podlinnosti. O nemeckoj ideologii [The Jargon of the Authenticity. About German Ideology]. Moscow, «Kanon+» ROOI «Reabilitacija», 2011, 191 p.
2. Bahtin M.M. K metodologii gumanitarnyh nauk [To the Methodology of Human Studies]. Moscow, «Iskusstvo», 1979, pp. 361–373.
3. Gegel' G.-V. F. Nauka logiki [The Science of Logic]. SPb., Nauka, 2005, 800 p.
4. Girc K. «Nasyshhennoe opisanie»: v poiskah interpretativnoj teorii kul'tury [Thick Descriptions Toward an Interpretive Theory of Culture. The Interpretation of Culture]. Moscow, ROSSPEN, 2004, pp. 9–42.
5. Kamju A. Veter v Dzhemila [The Wind in Jemila]. Moscow, Progress, 1969, pp. 529–534.
6. Mandel'shtam O. Je. Stihotvorenija [The Poems]. Leningrad, «Sovetskij pisatel'» publ., 1978, 336 p.
7. Milorad Pavich. Hazarskij slovar' [The Hazarian Dictionary]. SPb, «Azbuka», 1998, 383 p.
8. Petrovskaja E. V. Chast' sveta [The Part of the World]. Moscow, Ad Marginem, 1995, 175 p.
9. Jung K.G. O prirode psihe [About the Nature of Psyche]. Moscow, Refl.-buk. Kiev, Vakler, 2002, pp. 7–95